

Лариса КЕФФЕЛЬ-НАУМОВА

## АВДОТЬЯ-ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА

Яков с ужасом смотрел на шишку и тёмное пятно вокруг неё, с каждым днём разраставшееся на его руке. Это была смерть. Сибирка.

Люди шарахались от него. Один пожалел, посоветовал:

— Поезжай-ка ты, милоч, к Авдотье, целительнице, что в Бутырках живёт. Она вылечит.

— Травница, что ли? Знахарка? — с сомнением спросил Яша.

— Нет. Молитвой исцеляет.

— Какой ещё молитвой? Я же коммунист.

— Ну смотри, — прищурился мужик. — Тебе помирать-то!

Собрался Яков. До Бутырок было недалеко. Глухая деревня в полях. Ни тебе леса, ни тебе речки, и станция далеко.

Доехав, к председателю не пошёл, а у старушки на краю села справился, где здесь живёт Авдотья-целительница. Бабушка махнула куда-то рукой.

— Коммунист, небось? — и ушла в дом.

Пошёл по направлению, стараясь, чтобы не замечали. Другую старуху, что стояла на крыльце низенького домика, увидел.

— Где бы мне Авдотью отыскать?

— Мигалину?

— Да бабушка у вас исцеляет.

— Ну! Мигалина Авдотья Емельяновна.

— Ну вот... её, — Яшу прошиб пот. Ведь если узнают в партячейке, то, пожалуй, выгонят из коммунистов или ещё чего хуже... — Какая изба-то хоть у них?

— Старая. В вёхлах, — ответила бабка и тоже почему-то ушла с крыльца в избу, затворив скрипучую дверь.

Намучился Яков, пока нашёл. Дело было уж к вечеру.

Постучал. Начал брехать страшный кобель. Из сеней вышла с миской маленькая благообразная худая старушка, с тёмными провалами глаз, вся в мелких морщинках, в повойнике, чистом тёмном сарафане, подпоясанном по тому месту, где была хилая грудь, верёвочным пояском. Она подошла к кобелю. Вылила в миску остатки картофельного супа.

— Не бреши, Мурзилка. Будеть. Свои.

Сторожевой пёс довольно завилял обрубок хвоста и сунул морду в похлёбку. «Ладно конура сколочена. Должно, хозяин ставил», — смекнул про себя Яков.

— Авдотья Емельяновна? Я к тебе, — произнёс он затравленно.

— Заходи, — без каких-либо признаков неудовольствия ответила бабушка.

Наклонившись под низкой притолокой, зашёл в сени. Стянул сапоги. По скрипучим половицам вошёл в избу. На лавке в избе сидели два старика. Оглянулся на Авдотью.

— Это нищие странники, — сказала она. — Садись, мил человек. Вечерять будем.

В избе было чисто. Полы намыты. Коник и лавки покрыты тряпичными половичками. В углу божница. Стол большой, скоблённый добела. На трёх окнах нарядные занавески с цветами задёрнуты. На столе деревянная солонка. От света керосинки на крюке под потолком расходились тёплые круги по избе.

Авдотья подхватила рогачом и, подложив деревянный каток, выкатила чугунок из печки с горячей ещё картошкой. Каждый брал и чистил сам. Печка белёная. С полатей глядели четверо ребят.

— Баушка, дай хлеба! — ныли они.

— Вот я вас! Вот матери всё скажу, приедет, — она выставяла вперед фартук и грозно била по нему сухоньким кулачком, вроде как по тверди.

Дети её не боялись и через какое-то время начинали опять:

— Баушка, дай хлеба!

— Слезайте вечерять.

Ребята скатились, хихикая, толкая друг дружку, на широкие доски пола избы. Забрались на лавку, мал мала меньше.

Потоптавшись, присел к столу. Взял из чугуна картошку. Покидал из руки в руку, чтобы остыла. Пальцами чистил от кожуры.

— А чьи ребята? — спросил Яков.

— Внучата. Дочь Пелагея в Москву уехала. Табак на базар повезла.

Яша пожалел, что ничего не принёс Авдотье. Сахару пострелятам или хлеба. Знакомец, что послал его к Авдотье, наказал ничего не носить: никаких подарков,

даже, мол, и не думай. Она ничего не возьмёт.

После ужина самовар поспел, уже при свете самодельной керосинки-маргаски посмотрела она распухшую тёмную его руку.

— На заре разбужу. Молиться будем вместе. Креститься надо, Яков. В Бога-то веруешь? Креститься будешь? — заглянула, казалось, ему в самую душу добрыми глазами «баушка».

— Буду! — сразу почему-то согласился Яша.

Странники и Яков расположились на ночлег на лавках. В свете от лампадки тихо плели истории, что где слышно, какие чудеса.

— А вот давеча слышали. Ехала баба с ярмарки. Задремала. Едет и едет. А недалеко было. Очнулась. Перекрестилась. «Господи! Что это я больно долго еду?» А лошадь с телегой стоит уж по брюхо в болоте. Вот так. Господь спас. Крестное знамение демонов отогнало.

Из темноты мерцали любопытные глаза ребят.

Под их голоса Яков скоро провалился в сон...

— Эй, вставай, болезный. Заря уж.

Яков вышел на двор. Было ещё совсем темно. Звёзды над непокрытой частью двора. Рожок луны бледнел в небе. Даже кочет в курятнике ещё только приноравливался, прочищал горло, да не кукарекал.

Бабушка встала на колени перед иконами и Яше сказала: «И ты вставай! Вот такую молитву за мной повторяй!» Молитва была коротенькая, и Яков сразу запомнил. Сквозь низкое окошко увидел, что розовеет рассвет.

Он повторял за Авдотьей и крестился, когда она крестилась. Икон было три: Спас, Богородица Казанская, Николай Угодник в углу на вышитых рушниках. Лампадка тепло моргала. Сам не знал Яша, как всё повторял. Крестился. Клад поклоны.

Поднимаясь с колен, он вздрогнул от обалделого крика кочета. С других дворов стали наперегонки отвечать, и скоро вся деревня наполнилась задиристыми петушиными криками.

Авдотья подоила корову Нежку, подложила ей из вязанки, что ребята, пропалывая огород, давеча нарвали, поветели со свекольников. Травы эти корова хорошо ела. Сена-то где напасёшься? Сено сушили и берегли в зиму. Кликнула Марусю. Из четверых внучат Маруся — старшая. Помощница. Семь годков на Рождество Богородицы будет. Та привычно погнала Нежку в Усово. В бутырское стадо их коровёнку не брали. Распорядился председателю. Овец выгоняли в колхозное стадо. Авдотья курам с гусями высыпала из чугуна картофельные очистки. Немного погодя позвала Яшу. Указала на разлатую корзину. Притащил корзинку с сухим навозом. Авдотья растопила печь, раздула лучинки. Подбросила навозу. Дров в Бутырях отродясь не водилось. Навоз да торф и то разрешали копать ограниченно. Каждому давали делянку. Копали, сушили, складывали там же, на делянке, кирпичиками, где копали. Когда высохнет, домой везли. Дочь ходила, копала. Авдотья уже старая. Не могла. А внучата малы. Потопнут ещё на болотах.

Мальчонка, бритый наголо, сторожил гусей. Те норовили зайти в соседскую пшеницу. Он прутом гнал их обратно.

— Как звать-то тебя? — Яков остановился около.

— Колька.

— А батя где?

— На заработках, — важно ответил.

— Далеко?

— Далече, — мальчишка подтёр нос рукавом домотканой рубашонки. — Сперва в той стороне солнце встаёт. А опосля уж к нам.

— Значит, ты тут за хозяина, — пошутил Яков.

— Знамо дело. Окромя меня, все бабы.

— Пишет батька-то?

— Пишет. Посылку прислал. Мне солдатиков-красноармейцев и свисток.

— Ну раз ты тут старшой будешь, покажи, где у вас коса?

— А вон в сенах.

Колька припустил, сверкая голыми пятками, в сени. Вытащил косу, точильный камень. Яков, чтобы скоротать время до обеда, наточил косу, покосил луговину. Мальчик забыл про гусей. Крутился рядом.

— Дядя Яша! А ты лечиться пришёл?

— Да. Вот рука болит.

— Покажи.

Яков размотал тряпку, показал.

— Бабушка отмолит, — уверенно махнул Колька рукой. — Она коров подымает. Корову жвачку не жуёт — заболела, значит. А бабушка пошепчет, и полегчает бурёнке.

Она всех болезных лечит.

Яков улыбнулся. Чудно!

Хозяйским глазом Яша сразу заметил, что мужика нет, а на погляд всё справно. Огород большой. Метров пятьдесят. Посажена полоска конопли. Верёвки из неё вить. А то чем связывать-то? Росла свёкла, картошка, огурцы, редька, а чуть подалее виднелся клин проса и пшеницы.

Колька убежал играть в лапту на улицу на перекрёсток. Дорога вела на Выселки и Тютчево.

— Где же хозяин-то ваш? — взопрев, вытирая лоб рукавом, спросил Яша Авдотью, зачерпнув кружкой, привязанной на цепи, испить из ведра, висящего на верёвке.

— Сам помер как год. А семью зятя раскулачили. Зять на Дальний Восток подался. Бурильщиком. Вот дочка Полина одна с четырьмя и осталась. С колхозу выгнали.

— Плохо дело. Как же вы таперича? — Яков замер с кружкой в руке.

— Господь милостив. Управил. В хозяйство батрачить пошла.

— А за что раскулачили-то?

— А у зятева деда ещё до революции мельница была — крупорушенка. Давно уж развалилась. Знать, за то, что кулачье семя. Говорила я ей — не ходи за него за муж, и сам был против. Вожжами дочку отходил. Всё равно пошла. А раскулачивали так. Пришли к им в дом. Ходики взяли. Задник с лавки утащили. Крышу железную на крыльце раскрыли. Больше у ей ничаво не было. Власть. Никуды не денисся! — бабка насупилась. — А дочка опосля всё сидела за печкой в одеже все ночи, ждала, что придут забирать. Как их? Чекисты.

— Не пришли?

— Нет. Верно, не доехали. Деревня-то наша глухая. Господь помог. Отвёл беду, — и она перекрестилась. — Господи, спаси, сохрани и помилуй нас грешных!

Пообедали пустой похлёбкой. Авдотья принесла из амбара чёрный большой кирпич хлеба, отрезала всем по кусочку.

На вечерней заре тоже молились, поужинали картошкой. Самовар Яков помогал ставить. На следующее утро бабушка его побудила. Третью зарю помолились.

Как позавтракали, опять картошкой, плеснула ему в кружку молочка. На дорожку. Здоровый, белый с чёрными пятнами кот тут как тут, тёрся об ноги.

— Ты чяво здесь клянчишь, Пушок? А ну иди отсель. Я тебе потом налью. Бродяжить. А как исть садиться, к столу, принесёт его незнамо откуда, — кот мяукнул недовольно и гордо отошёл, свернулся клубком в углу у прялки. — Куделю мне не путай.

Проводила его.

— Ступай, мил человек Яков! Господь исцелить! Жив будешь.

Яша обречённо топал через поля. Вот ведь досада. Если узнают — засмеют. Ни тебе травы не прикладывала, ни мази. Эх! Зря только время потратил.

Разморило его, зашёл он подалее и заснул в разнотравье.

Пробудился уже ближе к вечеру. Румяный масляный блин солнца уже наполовину съели луга. Сухо стрекотали кузнечики. Должно, к ясной погоде. Яша лежал и думал, что надо ехать в райцентр. Туды, слышно, нового дохтура знающего с самой Рязани прислали. Есть хотелось. Живот подвело. Закормила Авдотья своей картошкой. Голодно живут. Хлебца нет досыта. Ребята вон зелёные с голодухи. Дёрнул травинку рукой, той, на которой была сибирка. Боли не почувствовал. Удивился, размотал тряпку и взглянул на руку. Рука была белая, чистая. Опухоль пропала, и шишки больше не было. Яков сел. Пощупал руку. Погладил, ещё не веря своим глазам. Опомнившись, истово перекрестился три раза на заходящее солнце и долго ошалело и счастливо плакал.

...Осенью Авдотье прислали с оказией яблоки и бочонок мёда. Кто прислал, не сказали. Сказали только, мол, за исцеление благодарность.

— Ну и слава тебе, Господи, помог владыка наш! — перекрестилась и покликкала: — Колька, Танька, Манька, Марфутка! — из избы высыпали, как горошины, ребята в длинных линиях рубашонках. — Снесите в погреб. Да не лазьте туды! — двое стащили с телеги и поволокли холщовый мешок с яблоками, а ещё двое — бочонок. — Ну, благодарствую, мил человек! А то сойди, испей водицы! Издаля, видать?

— Не. Мне ещё на Выселки, в магазин надо поспеть, — возница посмотрел пристально на Авдотью. — А ты, слышно, ето... Исцеляешь? Нешто и вправду?

— Не я. Господь исцеляет.

— Ну-ну! Прощевай, однако.

Мужик покрутил головой, натянул поводья, и лошадь потрусилась по колее на проезжую дорогу, что вела на Выселки.

Авдотья проводила его взглядом. Оглянулась на ребячий гомон.

— Да не уроните вы, ироды! — незло прикрикнула она вслед внучатам и озабоченно засемила за ними к погребу в углу двора.